

## Следы Набокова ведут на Юго-Запад?

Елена Каракина, многолетний сотрудник Литературного музея, выпустила книжку "Следы ведут на Юго-Запад" — об одесской литературной школе. Такая школа действительно существовала, и мэтром ее считался И.А. Бунин. А потом писатели, как водится, разлетелись из школы кто куда.

Набоков не мог подвергнуться одесскому влиянию. Но у него была наблюдательность и зоркость воробья, который может высмотреть каждое зернышко и утащить к себе, будь то деталь из жизни или чьего-то творчества.

Первый пример не юго-западный. В прозе О. Мандельштама об Армении есть описание игры в шахматы двух его знакомых (перед одним он извиняется, что иногда мешал игре). Это не Чигорин и Алехин, а обыкновенные любители шахмат. И вот Мандельштам, проходя мимо, видит игру как бы в сублимированном виде. Из нее как будто убрали деревянные — шахматные фигуры, оставив только отношения между ними. Над шахматной доской бушует силовое поле, возникают заговоры и натягиваются нити интриг, создаются и разваливаются группировки, гибнут принесенные в жертву исполнители идей, пространство над доской как будто гудит от невидимых сотрясений.

Читая об Армении, никто не обратил внимания на этот пассаж.

Зоркий Набоков высмотрел это зернышко, взрастил его и взлелеял, и выпестовал роман "Защита Лужина".

Лужинский стиль игры чаще побеждает, но иногда он пасует перед сильным противником классического стиля.

Но жизнь не терпит ухода от жизни. Тем более, дело происходит в Германии, с ее сочно-плотскими установлениями, весьма материальными; не сублимированный хлеб с колбасой важнее особого — гениального — склада ума. И когда невеста Лужина требует, чтобы он был нормальным женихом с нормальными заботами (шил костюм к свадьбе и т. п.), Лужин выбрасывается из окна туалета на плиты мощеного двора. Это и есть его защита от немецкого мещанства и пошлости. Он отправился в "мир иной", в мир идей.

Повторяю, этот след не ведет на Юго-Запад, это просто констатация факта (отмеченного, кстати, самим Набоковым), что писатель идет по жизни, черпая из нее материал для своего творчества, но и поглядывая, нельзя ли что подобрать и употребить из литературы.

Второй пример — это жирный, четкий отпечаток, хоть и неожиданно появившийся на территории Юго-Запада. Статья об этом написана поэтом Сергеем Гандлевским и опубликована в журнале "Иностранная литература" № 10 за 2004 г. Называется: "Странные сближения". И действительно, довольно странные, они поначалу привели автора статьи в замешательство. Роман "Лолита" оказался в родстве с нашей родной диалогией Ильфа и Петрова.

Что, казалось бы, могло их сблизить? Разве что то, что и то, и другое — роман-путешествие (что отмечено Гандлевским). Конструкция в целом — своя, набоковская. Но Гандлевский показывает, как обильно развешаны по ней спелые гроздья из другого романа, к вящему украшению и художественности первого. И ведь Набоков ничего не скрывает, напротив, все время подчеркивает, подначивает читателя, побуждая сделать открытие. Разве только бирки не прикрепляет, откуда что взято. Я не привожу цитат, ибо любая из них может соблазнить переписать целиком статью Гандлевского — такая она, эта статья, блестящая, убедительная, точная. Последняя фраза статьи особенно лаконична и метка — одним словом, кто не читал статью Гандлевского, обязательно прочтите.

Неожиданно, просматривая вермонтские записи А.И. Солженицына, я наткнулась на еще одно странное сближение. В записи А. И. Признается, что ему трудно читать Набокова и... Бабеля. В чем тут причина?

Я думаю, дело в стиле. Набоков — признанный стилист. А вся одесская школа — это стилисты. Ю. Олеша, когда уже не писал художественно законченных вещей, написал книгу "Ни дня без строчки", и в ней не было ни строчки без шедевра стиля. Его роман "Зависть" — весь на стиливых находках, как и "Три толстяка". Каждая фраза отточена и как-то вывернута по отношению к обычной речи. Сплошная словесная эквилибристика, как будто пляшут на канате, изгибаясь, гимнаст Тибул и его маленькая подруга Суок.

Бабель, конечно, тоже стилист (хоть формально не член "школы"). Страницы "Конармии", "Одесских рассказов" и других рассказов тщательно обработаны с точки зрения стиля, разные притом в разных произведениях. Применяются самые современные приемы, в том числе, скажем, импрессионизм. Меня, например, годы преследует строка из рассказа, где Лютиков, бравирюя, срубил шашкой голову гусю: "И только сердце мое, обогренное убийством, скрипело и текло". Скрипело и текло! Кто еще употребил бы эти слова для описания состояния перевернутой, изнасилованной души!

Да и Валентин Катаев оказался стилистом. Долгое время он скрывался в подполье, но потом, как будто отмываясь от "Хуторка в степи" и "Сына полка", вышел на авансцену с "Волшебным рогом Оберона", "Кладбищем в Скулянах", "Алмазным венцом" и др. и продемонстрировал, что и он блестящий стилист. Он даже придумал словечко для своего стиля; "мовист", от французского *mauvais* — плохой. Как подросток, который, придя в гости в новеньких блестящих штиблетах, боясь, что на них не обратят внимания, говорит: "мои лапти". Все равно не смотрят. У нас уже был на подходе модернизм, постмодернизм... Какие "мовисты"! Поезд давно ушел без Катаева.

Да ведь наши любимцы, Ильф и Петров, тоже стилисты! Их стиль — афоризм. Они создали медально-звонкий, веселый афористичный стиль. Недаром их произведения разобрали на афоризмы, которые до сих пор звучат в устах народа, — высший аттестат признания. Недаром Набоков обратился к их творчеству. И ведь филфаков и Литинститута не кончал...

А.И. Солженицын, вероятно, Олешу с Катаевым не читал — не тот масштаб. Но Бабеля с его "Конармией", конечно, пропустить не мог. И вот — трудно ему было читать. Он, последовательный приверженец "музы мести и печали" позапрошлого века, с ее почитанием народа русского и великого русского языка, составитель "Словаря для расширения русского языка", искусственного, псевдонародного, как Абрамцево, конечно, не воспринимал словесный эквилибр юго-западного образца. Там сказались и близость Запада, и знание французского языка и литературы тех лет, перенасыщенной культурой, сублимировавшей, опять же, многое вещественное в мир идей и ощущений, "загнивающей", одним словом.

Есть, мне кажется, еще одна причина. Бабель в глубине своей страшен. Что "Конармия", что рассказ про зажиточного мужика, узнавшего о коллективизации и накануне ее рубившего головы своих родимых, холеных и хранимых лошадей ("Колывушка"); что рассказ о женщине, потянувшейся к какой-то иной жизни ("Гапа Гужва"). Да и "Закат", по сути, страшенькая история. Ведь это не следователи, не вертухаи, не садисты. Это народ. Вернее, та чертовщина, муть, которая поднимается со дна, когда душа человека (или народа) перевернута и изнасилована. Похоже, что эта сторона жизни очень интересовала Бабеля. Он и с энкаведешниками дружил ради проникновения в потайной ад.

А у Солженицына — Иван Денисович и Матрена, чистые, как промытое стеклышко, и слабый, но опять же очень добрый и чистый государь император Николай II... А Распутин — он вроде доктора. Хочется взять

Александра Исаевича за руку, как дитя, и сказать ему об этих страницах Бабеля: "...не тронь,/ Под ними хаос шевелится".

И последнее. Все помнят рассказ Жаботинского об интеллигентном, ассимилированном еврее, проводящем отпуск на Принцевых островах. Там он наблюдает за играми девочек-подростков 10-12 лет, выделяет одну, умненькую, воспитанную, дитя кого-то из дипломатов, и, незаметно для себя, сползает в любовь. Подлинную и настоящую. Все помнят конец: серьезный, теплый взгляд при прощании и брошенное мельком признание: она не любит Принцевы острова за то, что там много евреев. "Я их на дух не выношу. А Вы?"

Набокова не очень интересовали евреи. Правда, во время войны он переживал по поводу гибели еврейских детей, "таких же упоительно забавных", как и другие дети. Но в общем, евреи ему были довольно безразличны.

Он вычистил, вымел из рассказа еврейскую тему, девочку американизировал, а взрослого-отпускника превратил в зрелого козла. Правда, как потом выяснилось, не окончательно. Ибо любовь, в конце концов, оказалась подлинной и настоящей. Родимое пятно, память о Принцевых островах.

Бедный Жаботинский! Если бы он додумался до клубнички, то греб бы до старости деньги лопатой, черпая из своего сюжета, а не занимался бы сионизмом.

Но — нет, каждому свое, одному — сионизм, другому — роман "Лолита" и жизнь в памяти потомков в качестве автора этого романа.

